

ВЕРА  
СОЛНЦЕВА

ЧЕЛОВЕКУ  
НУЖЕН  
ЧЕЛОВЕК

**Солнцева В. П.**

**С 60** Человеку нужен человек: Роман. — М.: Советский писатель, 1986. — 320 с.

Вера Петровна Солнцева — автор романа «Заря над Уссури», повестей «Судьба в окошко постучит», «Свекровь-матушка».

Непросто складывается жизненный путь главной героини нового романа Веры Солнцевой «Человеку нужен человек» Елены Мальковой, родившейся на Дальнем Востоке в семье староверов. Несмотря на трудности, Елена заканчивает школу, институт. В ней просыпается литературное дарование, которому она, в меру своих сил, старается быть верной всю жизнь.

4702010200—186  
С ————— 144—86  
083(02)—86

**ББК 84.Р7**

ВЕРА СОЛНЦЕВА

ЧЕЛОВЕКУ  
НУЖЕН  
ЧЕЛОВЕК

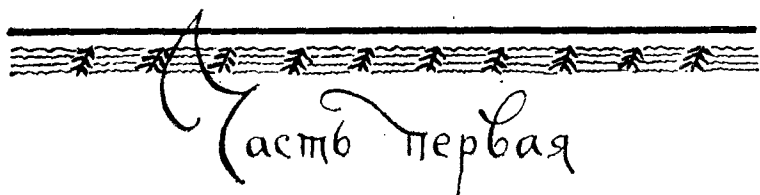
Москва  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1986

C 60

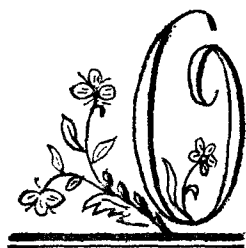
ЕЛЕНА БАЛАШЕВА

C

«Советский писатель», 1986 г.



## ГЛАВА ПЕРВАЯ



хвативший ее первобытный страх прошел по спине ознобом, и Елена Малькова мгновенно проснулась.

Тигрица! Да, это была она со своими тигрятами; она снилась ей редко — обычно после дня особо напряженного, тревожного; а вчера был день напряженный и радостный: студенты литфака получали дипломы.

Тигрица?

...Случилось это в Ленкином детстве, когда жила она еще в ладном отчем доме, — от него позже, после поджога, остались только почерневшая печь богатырской кладки да покосившаяся труба над нею.

А в тот сияющий летний день до беды было еще далеко, никто о ней и не подозревал.

Дед спокойно, без обычных криков, следил за сборами в поездку: он после долгих раздумий решился на дальнюю дорогу, в тайгу, к давнему другу-пасечнику.

— Матвей — пчеловод знатный, наберемся маненько у него ума-разума, — говорил дед. — И жена у него знающая,

славная женщина. Дом в самой тайге утаился: пчелы тишину любят. Матвей рассказывал: рядом рощица, а в ней много бархатных деревьев; деревья вот-вот расцветут — медосбор обещают хороший. Матвей крепко на своем стоял: «Приезжай, Евлаша, со внучкой — гостеньками желанными будете и мне, и Настасьишке моей. Она по деткам обмирает, своих-то у нас не было. Ждать вас будем. Улей не забудь с собой прихватить — пусть твои пчелки потрудятся. Попробуете медку с бархатного дерева, с ним никакой другой мед и в сравнение не идет: пахучий, густой, золотистый...» Соблазнил меня Мотя: «По вкусу, говорят, наши лучшие меды — гречишный и липовый — что пескаришки супротив осетра». Ленушка! Брось-ка тулуп старый и ватное одеяло в телегу — нам в ней ночевать придется, а ночи зябкие — вот и угреемся...

Мамушка на прощание прильнула к дочери; кажись, и всхлипнула, таясь от строгого свекра.

— От деда ни на шаг! — наказывала строго мать. — Тайга шутковать не любит...

Просторная телега доверху набита пахучим свежим сеном; добрый, откормленный до блеска мерин Шалый бодро отмеривал версты в течение длинного летнего дня.

Короткие остановки — покормить, попасть Шалого, самим перекусить, благо мать наготовила на неделю. И опять трусца мерина, убаюкивающий скрип колес.

Где-то на перепутье проспали ночь в телеге. Для тепла одеяло и тулуп, а от комаров дед сверху накинул брезент.

Угрелись и старый и малый. Уснули. Беспокойный дед положил руку на голову Ленке: проверял, не мерзнет ли голова, бормотал спросонок:

— Кажись, тепло...

Чуть брезжило, когда дед разбудил внучку:

— Поснедаем, Еленка, и в путь двинемся. Надо так подгадать, чтобы быть послезавтра утром у Матвея, чтобы день медосборный не пропал. У нас каждый час на учете, на счету...

Утром приехали на пасеку, и два сгорбленных гномика встретили их радостными восклицаниями:

— Добро пожаловать, гостеньки дорогие! Ленушка! Раскрасавушка!

— Евлампий! Сколько лет, сколько зим? Седой стал, сильная твоя бородушка!

— А ты не меняешься, Настасья Игнатьевна! Кажись, и росточку прибавила? — весело шутил дед.

— Куда мне расти? Таперича только в сыру земельку...

Суетились хозяева, и так добро и приветливо встретил приезжих дядя Мотя и его ненаглядная Настасьюшка, что диковая Ленка быстро оттаяла и робко улыбалась веселым шуткам сноровистого, подвижного, как ртуть, деда Матвея.

Плавала утицей около девочки неутомимая Настасьюшка; старушка «прилипла сердцем» к Ленке и только ахала, когда девочка ловко и споро доила корову Машку, мыла после обильного завтрака посуду, шоркала добела в кухне.

— Добрая, видать, у тебя сноха, Евлаша, — говорила старушка и суетилась, стараясь помочь Ленке, — как знатно обучила дочку всем премудростям домашним...

— Домашним мать обучала, — довольнешенький, откликнулся на ее похвалы Евлампий. — Знатным учителем в огороде и в поле — отец: он у нас заглавный земледелец. Я сызмальства ее на охоте проверял. Сверстные ребята зовут ее Ленка-охотница: матери лису матерую, вылинявшую на славу, еще совсем малолеткой принесла, а эту зиму пять белок без орехов добыла, в Заготпушнину сдали.

— Ой батюшки! Ой матушки! Страсти какие! — всплескивала руками старушка. — Не рано ли вы ее впрягли?

— Не рано, не рано! — отмахивался дед. — Пуцай привывает: в жизни все сгодится. Она у нас росточком маленькая и кажет худышкой, а кость у нее наша, крестьянская, широкая, подрастет и все остальное наживет...

Богатая, ухоженная пасека деда Моти стояла в просторном, огороженном дворе, и чуть свет уже трудились на ней пчелы.

На отшибе от ульев хозяина, чтобы не путать пчел, поставил Евлампий свой улей, перекрестился, открыл леток. Вскоре пчелы засновали над ним.

Матвей остался около улья наблюдать и скоро довольно отметил:

— Уже несут медок. С добром уедешь, Евлаша.

Хозяева повели гостей в рощицу цветущих деревьев. Душистые цветы пахли незнакомо: свежо и приятно; над ними гудели неутомимо сменяющиеся пчелы. Довольный молчун Мотя разговорился:

— Пробковое дерево, или, все едино, бархатное, амурское дерево, живучее — до трехсот лет дотягивает и высоту набирает изрядную: до двадцати пяти метров вытягивает.

Листья распускает в конце мая, а порой в июне. Видите: зацвел? Аккурат начинает цвести во второй половине июня и через десять дней цветение закончит. Вовремя ты, Евлаша, приехал: всего второй день несут с них пчелки мед. А красивый, а пахучий — золотой, я его предпочитаю, сладость... и липовый, и гречишный перед ним уступают, — сладко причмокивал он губами.

Елена любила это дерево, его кора казалась ей даже в зимнюю пору теплой и доброй. Она обняла молодое деревцо, наслаждалась необычным ароматом.

— Завтрева, гостеньки дорогие, Мотя рано уйдет на рыбалку. Я вас разбужу на самой зорьке, покажу чудо, — сказала баба Настя и на расспросы только таинственно улыбалась.

Солнце чуть позолотило восток.

Матвей, бесшумно двигаясь, достал из печи еще теплую гречневую кашу, с верхом заполнил миску, принес из сеней глиняную кружку с холодным молоком.

Поел, захватил заранее приготовленную рыбацкую снасть и, неслышно скользнув за дверь, тихо прикрыл ее.

Настенька мягким прикосновением руки подняла Ленку, которая в ожидании обещанного чуда давно уже не спала: она вскочила, оделась.

Через минуту был на ногах и Евлампий.

Старушка гномик повела их к высоченному забору из заостренных вверху, как пики, лиственничных плах, протянувшегося во все четыре стороны вокруг нарядного домика с резными ставнями, с резьбой над дверью, коньком на крыше, с разными хозяйственными пристройками. Она указала им на щели в заборе, приложила палец к губам: «Тихо!»

Все трое прильнули к щелям.

Рассветная тишина и благодать. Восходящее розово-золотое солнце над тайгой.

Настасьюшка легонько подтолкнула Ленку, молча указав влево.

Тигрица с двумя маленькими, пушистыми, как игрушки, тигрятами медленно шествовала вдоль забора. Проходя мимо затаившихся зрителей, тигрица величаво повернула голову в сторону двора, негромко, предупреждающе рыкнула и опять, не останавливая плавного хода, двинулась вперед.

Настасьюшка пальцем позвала за собой гостей и не-

слышно — охотничьим мягким шагом — повлекла их к забору с другой стороны обширного двора.

Невдалеке сквозь щели виднелась неширокая речка.

Тигрица, усадив одного малыша на береговой пригорок, зубами взяла другого за загривок и бросила в речку. Потом долго полоскала его в воде, порой окуная с головой. Искупала. Посадила его на пригорок, огляделась: второй тигренок исчез. Мать обеспокоенно рывкнула. Исчез! Опять огляделась и пошла к высокому дереву. Вот ты куда спрятался, сорванец!

Мать схватила его за загривок и наподдала лапой по задку. Тигренок, взревев от боли, полетел в воду. Пока мать купала его, первый тигренок сидел как пришитый, не шелохнувшись. Тигрица, посадив малыша рядом с первым, пошла купаться сама. Купалась долго, с наслаждением погружаясь и погружаясь в воду.

Троица обсохла и отправилась в обратный путь.

— Не страшно жить в такой глуши? — спросил старушку Евлампий. — Какой зверь рядом ходит! — Он поежился.

Холодок озноба от пережитого страха прошел по спине Ленки. Испугалась? Испугалась, но сдюжила, не вскрикнула, когда тигрица рыкнула, проходя мимо забора.

— Обвыклись, — спокойно сказала старушка. — Двор-то у нас от зверя огорожен. Не шибко-то бросятся на такие острые плахи. Мы и ворот-то порой днем не запираем. Только вот медведя опасаемся: он до меда лаком, и не столько съест, сколько разорит... А теперича, гостеньки любезные, самая пора попить-поесть. Ноне день будет жаркий, солнце уже греет...

— Чай пить — не дрова рубить, — шутил Евлампий. — По Уссури, рядом с нашей Береговушкой, нанайское стойбище. Так вот там живет древний, весь обомшелый волосом, забавный старик песенник, балагур. Обвык чуть свет чаевничать. Узкие глазки щурит, смеется: «Чай не пить — откуда сила? Чай попил — совсем без сил». К чаю наварит большой котел картошки, умнет ее и бутылочку пососет с сивухой. Развезет его — сыт, пьян, нос в табаке, распевает:

На котел накипел,  
На картошка наварил,  
На картошка моя,  
На рассыпчатая...

— Нанайцы — народ мирный, разговорчивый, — согласно кивает головой Настасьюшка.

Хорошо, безмятежно гостилось Ленке около ласковой,

гостеприимной хозяйки. Яишенка-глазунья на большой чугунной сковороде или жареный молодой петушок с хрустящей розовой кожицей, блины со сметаной — ложка стоит в крынке — такая густая; в узорчато изукрашенной берестяной миске чуть присоленные, молодые крепкие огурчики. Душистые щи из свежей огородной зелени, с большими кусками молодой свинины, ешь — не хочу! Море разливанное, а не стол у Настасьюшки. И все потчует-угощает она Ленку, подсовывает лакомые куски.

— Ты, тростиночка, в рост тянешься, а худущая! Ешь, ешь! Плотнее набивай пузичко. Мясо, поди, надоело? Вечером я тебя ущицей угощу наваристой: Мотя богато натащала сивов и линьков, хватит и на жарку...

Беспокоилась, допрашивала:

— Может, я чего не так подаю? Может, хочешь чего вкусенького? Дай-кось испеку тебе медовых пряничков!

Настасьюшка быстренько разогревала куски белого позапрошлогоднего липового меда, мешала с мукой; тем временем подтапливала уже остывшую печь, ставила противни.

— Спасибо! Я ноне, кажись, объелась! — смущалась, отнекивалась Ленка, но бабушка-гномик непреклонно наполнял хлебницу-плетенку из бересты мягкими, пахучими, с пылу-жару медовыми пряниками. Не оторвешься — вкусны!

— Закормите, в дверь не влезу. В дом не пустят: «Откуда такая пузатая?»

Хохотала старая, хохотала малая.

Дни летели, как с высокой кручи...

Скоро расставанье.

Часом пригорюнится Настасьюшка, бабушка-гномик, тихая певунья баба Настя. Глядит не наглядится на полюбившуюся девочку, вздыхает.

И Ленке грустно: баба Настя приворожила ее чистотой ясных детских глаз, самоотверженной добротой, готовностью услужить верой и правдой желанной гостье. Расставанье — не свиданье!

Познакомила ее баба Настя с тайгой дремучей, лесными, похожими на голубой глаз озерами с прозрачной чистой водой. Обошла округу, и однажды вбежала Ленка на довольно высокую сопку, на вершине которой рос лес.

Настя поднималась неохотно, ворчала.

— Смотри, баба Настя, вся сопка в бруснике, еще зеленая, неспелая, а как созреет, вся сопка алая будет! — вскричала Ленка. — Вот, поди, красотища-то!

— Ноне ягоды обильно пали, будем совками грести,— сказала Настасьюшка, оглянувшись по сторонам как-то испуганно, будто высматривала что-то,— поспешим, Ленушка, до хаты — темнеет... не припоздать ба. Не люблю я эту сопку. Тут меня прохватил страх смертный.

Осенью приехала ко мне сеструшка Кланя — брусники собрать на зиму. Это в наших ягодных местах сделать за просто: в урожайный год хоть лопатой гребь.

Телегу с бочонком для ягоды оставили внизу сопки. Еруслана привязали к дереву — пусть пасется, отдыхает на зеленой травке. Все ладно, все мирно. Ягоды навалом: вся сопка красным-красна. Собираем ягоду в решета, ссыпаем ее в ведра и несем их сыпать в бочонок. Больше внаклонку работали, спин не разгибали. Поднялись снизу сопки, вон к тем деревьям,— показала Аннушка на высокие кедры,— вдруг слышим, будто кто-то на нас зло фыркает, шипит. Замерли мы — ни живые ни мертвые.

«Кто это, сеструшка? Змея?» — испуганно спрашивает Кланя.

«Не вставай! Не разгибайся! — потихоньку приказываю ей, а у самой сердце так и екает: и впрямь не на змею ли ядовитую навались? Шепчу Клане: — Поверни голову влево, осмотри кругом, а я правую сторону огляжу... — Не разгибаясь повела я вправо глазами на дерево и обмерла: вижу, сидит на толстой ветке большу-ущая кошка, на ушах меховые кисточки торчком стоят, пасть так оскалила, что острые зубы видны, шипит зло. Матерая рысь! Фыркает, предупреждает-пугает нас: вся изогнулась — сейчас прыгнет. — Кланя! Не поворачивайся, а быстро спускайся с сопки задом наперед».

Осторожно спустились мы с сопки. Огляделись. Если теперь и прыгнет рысь, нас с первого прыжка не настигнет... И давай бог ноги! Ох и бежали мы, милушка, ох и бежали! Руки у меня трясутся. Еле-еле Еруслана от дерева отвязали, впрягла — и домой...

Плакала Настасьюшка, шмыгал носом растроганный Матвей, когда уезжали Мальковы — дед и внучка.

— Может, до осени оставишь ее, Евлаша? — всхлипывая, жалким голосом спросила тетя Настя, но дед отрицательно качнул головой.

— Одна она у нас. Мать и отец, да и дедка, в ней души

не чают. Нельзя, Настасья Игнатьевна!..— Сказал — отрубил.

Матушка на диковинный мед и не смотрела, призналась:

— Скучилась, дочушка, страсть. День за год шел — измучилась ожидаючи...

Побелела так, что даже малиновые губы стали белыми, когда слушала рассказ деда о тигрице. А у Ленки опять озноб по спине...

Елена привстала со своего узкого диванчика, на котором спала, достала с полки заветную книжицу-диплом с отличием, прижала его к горячей от сна щеке. Свобода! Долгожданная свобода. Прости-прощай, литфак! Прости-прощай, МГУ!

Давно мечтала Елена о турпоходе по дорогам Кавказа, давно желала себе удачи: «Путем-дорогой, Еленка! Покарабкайся вволю по прекрасным кручам гор, поднимись в поднебесье, полюбуйся на чудо природы — горное, синеглубое озеро. Рица, воспетая подружками Рица! Я увижу, увижу тебя! Побываю в заповедных лесах, познакомлюсь с неповторимой природой Кавказа. Счастье-то какое заслужила, отличница!»

Намечен был день выезда. И тут случилось неожиданное: Ленка раздумала ехать. Несколько дней, отведенных на сборы, она провела в тревоге и раздумьях. Что делать? Надо собраться с духом и объяснить подругам-студенткам свое внезапное решение махнуть рукой на поездку, на житейские соблазны, на желанные горы, к которым так стремилась. Что день грядущий мне готовит? Вспомнила сон. Девчонки меня как тигрицы рвать будут: «Ленка, ты с ума сошла!», «Отказаться от Кавказа? Почему?», «Да это, может быть, единственный в жизни шанс повидать Кавказ!»

С шумом и смехом ввалились в Ленкину комнату вольные птахи — вчерашние студентки.

— Ну, конечно, у Мальковой еще и конь не валялся: никаких следов сбора.

— Девочки! Я остаюсь...— непривычно кротко сказала Ленка. И кротость эта так поразила девушек, что они онемели: поняли, что ее решение твердо.

Все обошлось неожиданно мирно: подруги поохали-поахали, но приняли ее оправдания. «Шутка в деле — пишет повесть! Ну и Ленка! А все помалкивала», «Дерзай, дер-

зай, подружка!», «Может, это настоящ  
панс в жизни!»

Последние два года в университете часто охватывала Елену горячая потребность при первой возможности хвататься за перо. Писала в стенгазету юморески, стихи, сценки из студенческой жизни. Но это было не то, что томило, звало ее: все чаще и чаще возвращалась она к дням детства и юности. Все было ясно и просто. Садись и пиши. Ан нет!

Садилась, писала, а остыв и перечитав написанное, она досадливо рвала в клочья бумагу, ужасаясь бедности, несовершенству созданного. «Бездарная. Бездарная! — тяжело корила себя и подталкивала: — Потей, Елена, потей!» Дед Евлаша любил и бичиком подстегнуть: «Еленка! Потей, потей в работе; только лодыри да тунеядцы живут по присловице: ешь — потей, работай — мерзни».

С новым рвением писала и рвала. «Батюшки! Что же это такое? Ничего похожего на то, что видела мысленно. Маленькие людишки с ничтожными страстями, не люди, а их унылые серые тени. Скучный суконый язык. Вот тощипато!» Опять хваталась за тоненькую ученическую ручку.

Преследовали, все настойчивее теснились перед ней картины детства, оживали поблекшие за долгие годы разлуки образы близких — матери, отца, деда; расстилаясь на долгие-долгие версты, зеленели пахучие медовые травы в рост человека: в пышном кипении малиново-розового багульника вставляли нарядные сопки; манила ласковая, с белыми песчаными берегами Усури — кроткая река детства; звали бесчисленные коварные протоки на левой стороне Амура под Хабаровском, куда дед отваживался брать с собой Ленку: «Заплутаемся, Ленушка, тут нам и хана будет. Умные люди со знающим человеком едут. Ну да мы только одну-две протоки проедем, черемухового цвета мешок наберем — да и восвояси: судьбу пытаться не след!» Да, Амур! Дед мечтал съездить с ней вниз по Амуру «аж до самого Николаевска», показать, как там ловят кету-матушку.

— Она оттедова из самого низовья прет навалом — тысячами тысяч: лодка идет по рыбе, все кругом кипит, всплескивается, хошь руками лови — рвется она в наши края и к самым верховьям — метать икру. Сотни верст идет против могучного течения, местами бьет ее о камни по порогам, местами по мелководью ползет-извивается. Из далекого моря идет, а находит места, где ее жизнь зачалась. Рана на ране, избитая, еле живая придет на нерест — вымечет икру честь по чести, в положенных от века водах, а

вскоре и смерть примет... А еще, внучка, увидишь тайгу амурскую — на сотни верст стоит стена, конца и краю не видать. Поживем неделю в селе Больше-Михайловском — там один старовер осел, от общины отбился... — Дед умолкал: не любил ревнитель древней веры отщепенцев. — Хоча у него разведать, каковы кругом места, может, и нам придется стронуться с мест насиженных: валом валит переселенец, покоя нет...

...Напряженная работа над повестью будоражила память, чередой воскрешая картины детства: как плугом вспарывала пласты пережитого, казалось бы, невосвратно ушедшего.

Лето в жаркой и пыльной Москве на скудные остатки стипендии и редкие литературные заработки летело стремительно: как одержимая воссоздавала Елена картины детских лет.

Трудилась не покладая рук; доходила до потери сил; спала пять-шесть часов, вставала как встрепанная и опять работала; вновь перепроверяла: обретают ли правду жизни, художественную достоверность образы повести.

Дед никогда не прощал ей спешку, торопливость. «Тяп-ляп — и готов корабль? — насмешливо спрашивал он. — Куда спешишь, торопыжка? Спешно только блох ловят, да и то сперва на палец поплюют. У тебя на шее не тыква — голова: раскинь умом, обмозгуй...»

Легкое дело: обмозгуй, раскинь умом. Дед требовал дела добротного: «Воду варить — вода и будет».

Все видит Елена рядом, воочию, осязаемо и так близко: протяни руку — и будет как на ладони. Ан нет! Откуда только берутся неуклюжие блеклые слова, краски, застойные неживые мысли?

«Шутка сказать: шевели мозгами», — думала Елена, когда после долгой работы вновь находила неудачные фразы, абзацы: они еще вчера казались ей сносными, отдельные из них даже законченно отточенными, ныне кажутся потерявшими тепло живой жизни. Как трудно описать все, что как будто ясно и зримо, — а не дается! У Елены падало сердце: «Не по мне ноша!»

Усталая, казалось, отгоревшая дотла, она с мальковской настойчивостью продолжала биться над тайной живого слова, искать ключик к заветному ларцу с секретом, чтобы немудреное предложение заговорило и на бумаге, как произнесенное мысленно, — ярко, эмоционально, достоверными словами — веселыми, пляшущими или, наоборот, тоскующими, горестными.

Вчера еще задуманный эпизод, как ей казалось, красочный, динамичный, полностью осмысленный в воображении, при новом прочтении оказывался куцем, лишенным пылкой сердцевины. Мускулатура, смысл и значение решающих картин на бумаге постепенно дрябли, превращались в холодную говорильню. Где же живой ток крови, горечь боли? Куда исчезла неугасимо добрая ласка маминых потускневших глаз? А величие и фанатическая убежденность деда? Остался мелкий злой старикашка. А он далеко не мелкий! А большерукий, неутомимый трудяга отец-пахарь, огородник, лесоруб, рыболов и охотник, — разве он безвольная тряпка в руках деда, разве не встал он твердо за Ленку, когда дед восстал против школы, когда боролся с сумасшедшим Лукой?

Надо строже, Ленка, надо пахать глубже и смелее; дед постоянно твердил: «Кто ленив пахать, тот не будет богат». Нет, нет! Надо еще искать слов точных, разящих. Разве это не напасть, когда ажурная изморозь на оконном стекле под ее неумелым пером теряет звездную кристалльность, волшебное богатство узоров и превращается в грубую льдину на подоконнике?

...Усталая, закрыла глаза — хлынули горячие волны щедрого уссурийского солнца, залили весеннюю радостную тайгу, цветущие пестрые, словно пляшущие от богатства красок поляны и выгари, веселые в молодой салатно-зеленой траве сопки и распадки.

В сияющем, просвечивающем мареве тумана плыли перед ней юные лиственницы, почти прозрачные, еле-еле опущенные новорожденной, бархатисто-мягкой хвоей.

Поднимались сосновые боры: меднолитые величественные деревья — ствол к стволу — истекали остро пахучей живицей-смолой.

Вот рассеялся туман, и под пронизывающим солнечным светом зеленым костром вспыхнули кроны высоченного мачтового леса.

Могучий, стремительный, раскинувшийся даже в ширину на версты Амур-батьюшка — кормилец и кроткая матушка Усури-кормилица — реки детства и отрочества.

Богат родной край обилием непуганой рыбы в тихих и бурных таежных реках, речках, озерах.

Богата тайга зверем: лоси, кабаны, олени, косули, выдра, соболя, горностаи, белки.

На зеленых берегах и в прибрежных зарослях вспархи-

вают и предупреждают о пришельцах, чуждых тайге, о возможной опасности быстроглазые сороки-воровки, тяжело взлетают бекасы, гогочут гуси, крикают утки, охорашивают ярко окрашенный наряд селезни.

На песчаных отмелях множество следов — побывали на водопое свирепые кабаны, пугливые косули и олени, осторожная кабарга, злая россомаха, коварная рысь.

...Больше десяти раз переписывала она маленькую повесть и с ужасом поняла, что можно и дальше править, но больше ничего нового она не в силах в нее внести: бег на месте.

Преодолев застенчивость, побледневшая Елена вручила рукопись секретарю редакции облюбованного ею «толстого» молодежного журнала.

— Самотек? — спросил секретарь, нерешительно теребя в руках рукопись, перевязанную толстой бечевкой.

— Самотек! — еще больше бледнея, словно ее уличили в недостойном поступке, ответила она и неторопливо пошла к двери, приказав себе идти ровно, не мельтеша. «Самотек самотеку рознь, товарищ секретарь...»

Через месяц пришло письмо: просит зайти главный редактор. «К главному? Зачем? Неужели?!»

От страха Елена так напудрилась, что пудра сыпалась с лица. Нарядилась в единственное выходное — дед сказал бы «кобеднишнее» — платье, надела туфли на высоких каблуках, и пошла-поплелась она на прием к главному, как на казнь египетскую. Замирало, падало сердце...

— Ого! Да вы, оказывается, типичная горожанка, а я полагал увидеть кондовую Русь, — будто даже разочарованно сказал главный, выходя из-за стола, а она стояла, как солдат-новобранец перед грозным начальством, навытяжку, не решаясь: подать ли ему руку или стоять столбом? И, цепenea от смущения, как в ледяную воду кинулась:

— Елена Малькова я...

— Знаю, знаю! Хорошую повесть написали вы, милая девушка. В две недели обошла она редакционный круг — у всех единодушное мнение. Будем печатать. — Спросил, помолчав: — Ваша жизнь?

Она глянула с испугом: не будет ли помехой, что она из семьи староверов? Насупилась: «Суди повесть, а жизнь я давно рассудила».

Внимательно наблюдал он за ней, улыбался: «Девочка, кажется, потеряла дар речи».

— Над чем еще работаете, Елена... Елена Николаевна? — спросил он, провожая ее к двери кабинета. — Приносите. Мы будем ждать...

Ее, Ленкина, повесть принята! Елена ликовала, буйствовала в своей комнате на Малой Бронной: в сотый раз перечитывала письмо из редакции, рассматривала журнальный штамп на конверте. Возгордилась: «Вот тебе и самоотек! — И, как всегда, укоротила себя: — Уймись, Елена! Рано вознеслась».

«Не устоишь, Елена! Кулаками наземь собьют...» — зло пророчил дед.

Устояла. Устояла!..

В ответ на робкий Ленкин вопрос, вышел ли новый номер журнала, мужской голос в трубке ответил утвердительно.

— Говорит Елена Малькова. Мне можно получить авторский экземпляр?

— Можете получить, пожалуйста.

— Сейчас? — обмирая шепнула она и в ответ почувствовала улыбку секретаря редакции на другом конце провода:

— Можно и сейчас...

Прибывав в журнал, Елена почти выхватила номер из рук секретаря.

— Спасибо, большое спасибо!

Секретарь покровительственно усмехнулся:

— За что же мне? Это вам спасибо.

Не чувствуя под собой ног, прошагала она в приемную к круглому столу для посетителей, диковато оглянулась: не видит ли кто ее волнения? За столом сидел молодой человек, но он и не взглянул на нее: самозабвенно уткнулся в новый номер журнала.

Она поспешно пробежала глазами содержание номера и задохнулась: журнал открывался ее повестью.

Перелистала журнал, вернулась к повести. С наслаждением, буква за буквой повторяла волшебные слова: «Елена Малькова. «Изгнание». Повесть». От восторга хотелось крикнуть: «Это я Елена Малькова! — Но сдержала себя: — Не расходишь, Елена. — Мысль перебросилась на родимую: — Вот, поди, обрадовалась бы мама! «Чадушко мое милое! Вишь, чево достигла! А дед Евлампий хотел ее на всю